# Ленинградская поэма

***I

Я как рубеж запомню вечер:
 декабрь, безогненная мгла,
 я хлеб в руке домой несла,
 и вдруг соседка мне навстречу.
 — Сменяй на платье,— говорит,—
 менять не хочешь — дай по дружбе.
 Десятый день, как дочь лежит.
 Не хороню. Ей гробик нужен.
 Его за хлеб сколотят нам.
 Отдай. Ведь ты сама рожала…—
 И я сказала: — Не отдам.—
 И бедный ломоть крепче сжала.
 — Отдай,— она просила,— ты
 сама ребенка хоронила.
 Я принесла тогда цветы,
 чтоб ты украсила могилу.—
 …Как будто на краю земли,
 одни, во мгле, в жестокой схватке,
 две женщины, мы рядом шли,
 две матери, две ленинградки.
 И, одержимая, она
 молила долго, горько, робко.
 И сил хватило у меня
 не уступить мой хлеб на гробик.
 И сил хватило — привести
 ее к себе, шепнув угрюмо:
 — На, съешь кусочек, съешь… прости!
 Мне для живых не жаль — не думай.—
 …Прожив декабрь, январь, февраль,
 я повторяю с дрожью счастья:
 мне ничего живым не жаль —
 ни слез, ни радости, ни страсти.
 Перед лицом твоим, Война,
 я поднимаю клятву эту,
 как вечной жизни эстафету,
 что мне друзьями вручена.
 Их множество — друзей моих,
 друзей родного Ленинграда.
 О, мы задохлись бы без них
 в мучительном кольце блокады.

II

. . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . .

III

О да — иначе не могли
 ни те бойцы, ни те шоферы,
 когда грузовики вели
 по озеру в голодный город.
 Холодный ровный свет луны,
 снега сияют исступленно,
 и со стеклянной вышины
 врагу отчетливо видны
 внизу идущие колонны.
 И воет, воет небосвод,
 и свищет воздух, и скрежещет,
 под бомбами ломаясь, лед,
 и озеро в воронки плещет.
 Но вражеской бомбежки хуже,
 еще мучительней и злей —
 сорокаградусная стужа,
 владычащая на земле.
 Казалось — солнце не взойдет.
 Навеки ночь в застывших звездах,
 навеки лунный снег, и лед,
 и голубой свистящий воздух.
 Казалось, что конец земли…
 Но сквозь остывшую планету
 на Ленинград машины шли:
 он жив еще. Он рядом где-то.
 На Ленинград, на Ленинград!
 Там на два дня осталось хлеба,
 там матери под темным небом
 толпой у булочной стоят,
 и дрогнут, и молчат, и ждут,
 прислушиваются тревожно:
 — К заре, сказали, привезут…
 — Гражданочки, держаться можно…—
 И было так: на всем ходу
 машина задняя осела.
 Шофер вскочил, шофер на льду.
 — Ну, так и есть — мотор заело.
 Ремонт на пять минут, пустяк.
 Поломка эта — не угроза,
 да рук не разогнуть никак:
 их на руле свело морозом.
 Чуть разогнешь — опять сведет.
 Стоять? А хлеб? Других дождаться?
 А хлеб — две тонны? Он спасет
 шестнадцать тысяч ленинградцев.—
 И вот — в бензине руки он
 смочил, поджег их от мотора,
 и быстро двинулся ремонт
 в пылающих руках шофера.
 Вперед! Как ноют волдыри,
 примерзли к варежкам ладони.
 Но он доставит хлеб, пригонит
 к хлебопекарне до зари.
 Шестнадцать тысяч матерей
 пайки получат на заре —
 сто двадцать пять блокадных грамм
 с огнем и кровью пополам.
 …О, мы познали в декабре —
 не зря «священным даром» назван
 обычный хлеб, и тяжкий грех —
 хотя бы крошку бросить наземь:
 таким людским страданьем он,
 такой большой любовью братской
 для нас отныне освящен,
 наш хлеб насущный, ленинградский.

IV

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
 дорогой дружбы многих к многим.
 Еще не знают на земле
 страшней и радостней дороги.
 И я навек тобой горда,
 сестра моя, москвичка Маша,
 за твой февральский путь сюда,
 в блокаду к нам, дорогой нашей.
 Золотоглаза и строга,
 как прутик, тоненькая станом,
 в огромных русских сапогах,
 в чужом тулупчике, с наганом,—
 и ты рвалась сквозь смерть и лед,
 как все, тревогой одержима,—
 моя отчизна, мой народ,
 великодушный и любимый.
 И ты вела машину к нам,
 подарков полную до края.
 Ты знала —я теперь одна,
 мой муж погиб, я голодаю.
 Но то же, то же, что со мной,
 со всеми сделала блокада.
 И для тебя слились в одно
 и я и горе Ленинграда.
 И, ночью плача за меня,
 ты забирала на рассветах
 в освобожденных деревнях
 посылки, письма и приветы.
 Записывала: «Не забыть:
 деревня Хохрино. Петровы.
 Зайти на Мойку сто один
 к родным. Сказать, что все здоровы,
 что Митю долго мучил враг,
 но мальчик жив, хоть очень
 слабый…»
 О страшном плене до утра
 тебе рассказывали бабы
 и лук сбирали по дворам,
 в холодных, разоренных хатах:
 — На, питерцам свезешь, сестра.
 Проси прощенья — чем богаты…—
 И ты рвалась — вперед, вперед,
 как луч, с неодолимой силой.
 Моя отчизна, мой народ,
 родная кровь моя,— спасибо!

V

. . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . .

VI

Вот так, исполнены любви,
 из-за кольца, из тьмы разлуки
 друзья твердили нам: «Живи!»,
 друзья протягивали руки.
 Оледеневшие, в огне,
 в крови, пронизанные светом,
 они вручили вам и мне
 единой жизни эстафету.
 Безмерно счастие мое.
 Спокойно говорю в ответ им:
 — Друзья, мы приняли ее,
 мы держим вашу эстафету.
 Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
 В давящей мгле ее терзаний
 всей силой сердца жили мы,
 всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни
 мы ели землю, клей, ремни;
 но, съев похлебку из ремней,
 вставал к станку упрямый мастер,
 чтобы точить орудий части,
 необходимые войне.

Но он точил, пока рука
 могла производить движенья.
 И если падал — у станка,
 как падает солдат в сраженье.

И люди слушали стихи,
 как никогда,— с глубокой верой,
 в квартирах черных, как пещеры,
 у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,
 перед коптилкой, в стуже адской,
 гравировал гравер седой
 особый орден — ленинградский.
 Колючей проволокой он,
 как будто бы венцом терновым,
 кругом — по краю — обведен,
 блокады символом суровым.
 В кольце, плечом к плечу, втроем —
 ребенок, женщина, мужчина,
 под бомбами, как под дождем,
 стоят, глаза к зениту вскинув.
 И надпись сердцу дорога,—
 она гласит не о награде,
 она спокойна и строга:
 «Я жил зимою в Ленинграде».
 Так дрались мы за рубежи
 твои, возлюбленная Жизнь!
 И я, как вы,— упряма, зла,—
 за них сражалась, как умела.
 Душа, крепясь, превозмогла
 предательскую немощь тела.
 И я утрату понесла.
 К ней не притронусь даже словом —
 такая боль… И я смогла,
 как вы, подняться к жизни снова.
 Затем, чтоб вновь и вновь сражаться
 за жизнь.

Носитель смерти, враг —
 опять над каждым ленинградцем
 заносит кованый кулак.
 Но, не волнуясь, не боясь,
 гляжу в глаза грядущим схваткам:
 ведь ты со мной, страна моя,
 и я недаром — ленинградка.
 Так, с эстафетой вечной жизни,
 тобой врученною, отчизна,
 иду с тобой путем единым,
 во имя мира твоего,
 во имя будущего сына
 и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой
 ее, заветную мою,
 сложила я нетерпеливо
 сейчас, в блокаде и в бою.

Не за нее ль идет война?
 Не за нее ли ленинградцам
 еще бороться, и мужаться,
 и мстить без меры? Вот она:

— Здравствуй, крестник
 красных командиров,
 милый вестник,
 вестник мира…

Сны тебе спокойные приснятся
 битвы стихли на земле ночной.
 Люди неба больше не боятся,
 неба, озаренного луной.

В синей-синей глубине эфира
 молодые облака плывут.
 Над могилой красных командиров
 мудрые терновники цветут.
 Ты проснешься на земле цветущей,
 вставшей не для боя — для труда.
 Ты услышишь ласточек поющих:
 ласточки
 вернулись в города.

Гнезда вьют они — и не боятся!
 Вьют в стене пробитой, под окном:
 крепче будет гнездышко держаться,
 люди больше не покинут дом.

Так чиста теперь людская радость,
 точно к миру прикоснулась вновь.
 Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда,
 здравствуй, победившая любовь!***